



**инвестирование, акционирование,
приватизация, консалтинг, услуги и продажа
депозитария**

Словацкий писатель **Ладислав МНЯЧКО** впервые пришел к нашим читателям с романом «Смерть зовется Энгельхен» добрых тридцать лет назад. Другие его работы у нас известны меньше, хотя переводились на многие языки. Судьба Мнячко складывалась драматически. Бунтарь и «еретик», он ни на минуту не принял в Чехословакию войск Варшавского договора, не пошел на компромисс, не кривил душой, предпочтя долгие годы эмиграции. Там родились его новые романы, книги репортажей и повестей, сатирические произведения — вещи, которые у нас не издавались, а частью еще не выходили нигде.

Теперь писатель возвращается на родину, в Словакию. С ним беседовал наш собственный корреспондент Виталий МОЕВ.

— В романе «Вкус власти» Ладислав Мнячко 60-х годов по косточкам разобрал психологию и технологию тоталитарной власти. А сегодня? Что скажете о нынешней демократической?

— Ту книжку, между прочим, да и «Смерть зовется Энгельхен», я бы отнес по жанру скорее к политическим памфлетам. Из материалов просилась, что называется, литература факта, но она рисковала остаться в ящике письменного стола. Приходилось облекать ее в беллетристические одежды...

— Что-то похожее мне говорил некогда в Москве Александр Бек о своем романе «Новое назначение». И все-таки: какова по вкусу, на ваш взгляд, власть демократическая?

— Сказал бы, довольно кислая. То, что я вижу вокруг, я называю квасом, ничего еще не перебродило, все пузырится и булькает. Не устоялись новые структуры, институты, не хватает многих демократических законов, а там, где они есть, не хватает законопослушания, демократии. Видите ли... я глубоко убежден, демократия — не только предмет общественного устройства. Для нее должно найтись место в человеке, внутри нас — тогда она приживается и в обществе. А в человеческой душе сегодня тоже квас, бурлят страсти, одержимость и рядом — дикарская вера в политические ярлыки и побрякушки. Один машет рукой на политику, дескать, подальше от болтовни, другой готов слушать и бежать чуть ли не за каждым красноречем. Все растеряны, мечутся, разве это похоже на демократический строй? На Западе — за двадцать с лишним лет эмиграции я насмотрелся — там тоже не все образцовые граждане, политические зывалы разливаются и там, кого-то охмуряют, в парламент можно протиснуться нагим женским телом. Но основы устойчивые. Демократическая система — это все лучшее из всего, что люди перепробовали и к чему пришли.

Главное, я считаю, отличие демократии от тоталитаризма не в том, что появляются политики один к одному, без страха и упрека, они разные, а в пору таких пертурбаций, как у вас или у нас, очень даже боико вылезают и поддипалы, и демагоги. Главное — подконтрольность этой власти. Собственно, контроль над ней — это и есть демократия. Прodelки не могут проходить для властей безнаказанно. В Австрии на моих глазах был случай, когда премьеру пришлось подать в отставку. Сболтнул лишнее. И не такую уж обронил бризантную фразу, но стал опираться, лгать. И — конец. А вспомните Никсона, «Уотергейт». Слово у политика оце-

Чехо-Словакии — вы же знаете — после парламентских выборов сошла со сцены вся ведущая гарнитура, несмотря на то, что одержала победу в революции и два года держала власть.

— Да, отошли громкие имена, включая президента Вацлава Гавела. У нас еще раньше смилилась команда Горбачева, в Польше конфликтует с властями славная «Солидарность». Такая массовая «смена караула» тоже, наверное, особенность нынешней демократии? Революции пожирают своих детей?

— Мне видится целый клубок причин. Во-первых, та, что импульсом нынешних революционных переворотов служило чистое отрицание. Людей просто объединяло чувство, что дальше так жить нельзя. А что дальше — об этом все размышления оставались, по существу, впереди. Теперь и наступило их время. Героям отрицания не повезло ни в том, чтобы сложить ясную программу, ни в том, чтобы осознать, какая тяжкая предстоит работа, убедить общество не поддаваться новым иллюзиям насчет быстрого и легкого успеха. Слушая их люди и сами легко готовы были обмануться, но такой самообман редко процветает.

Во-вторых, коммунистическую систему несли люди, которые десятилетиями в ней жили, в кровь обдирали тело, и душу. Я вырос в словацком Мартине, в рабочей среде, в годы первой республики. Расползлась кризис, безработица. Коммунистические настроения поднимались, как на дрожжах, мечта социальной справедливости захватила целиком. Вступил в партию, задним числом сказать — зря, потому что искал на все свой взгляд, а требовалось подчиняться партийным. Спрашивал себя: что же происходит, куда идем? В 50-х годах наступил террор, хватились сажали и казнили людей без вины. Было страшно, все тогда чувствовалось страхом и президент, и партии, и еретики, и инквизиторы. И как-то в 53-м году я себе сказал: «От этого страха ты сдохнешь, попробуй другое — нагоняй страх на тех, кто нагоняет страх». И ведь нам удавалось, к 67-му году могли писать практически свободно, критиковали все. А после шестидневной войны на Ближнем Востоке, с новой отвратительной волной организованного антисемитизма, я уже не мог выдержать. Опубликовал во «Франкфуртер альгемайне» свой протест и демонстративно уехал в Израиль. Конечно, сразу исключили из партии, лишили гражданства. Через год, правда, спохватились, вернулся, но следом в Братиславу хлынули танки.

Признаться, я не большой охотник до

Ладислав МНЯЧКО:
«То, что вижу вокруг,
я называю квасом»

Ладислав МНЯЧКО:

ответа. Посылать упреки Даниилу Гранину? Играть в бодрячка, дескать, переделается, мука будет? Хорошо мука! Дома мне уже нечего было делать, подался в Австрию. На пограничном переходе — я был с одной сумкой в руках — вышел навстречу караульный начальник, потряс руку: «Понимаю, правильно делается». А я потом частенько думал, что если бы уходил годом позднее — допустим, нелегально — тот же самый начальник скорее всего велел бы в меня стрелять.

Здесь уже речь о причине третьей, глубоко нравственной. Обыкновенному человеку — не скажу «маленькому» или «массе», невыносимые слова — обыкновенному человеку пришлось еще двадцать лет гнаться под диктатурой, подлаживаться, приспосабливаться, не суть важно, из карьерных интересов или просто из страха. Тоталитаризм свергло общество в глубочайший моральный кризис, по-моему, самое злейшее из его зол. Человек носит в себе стыд за прошлое. Преследует голос совести, а те, кто продолжал сопротивляться, кто раньше был диссидентом, а потом пришел к власти, они служат напоминанием, живым укором себе. Лучше, чтобы не бередили совесть, людям хочется освободиться от пережитого, забыть. И к власти призывается новая смена.

Кстати, это не значит, что политика произвольно изменяется. В Австрии я несколько раз беседовал с Бруно Крайским. Помню, после своей победы в 70-м году он сказал одну мудрую вещь. Видите ли, говорил, я не могу делать политику, слишком отличную от прежней. Совершенно невозможно. Разница будет только в том, что предшественники делали акцент на интересах предпринимательства, а мы, социалисты, основываемся на интересах социальной защиты. И какие-то острые перепады его правительства действительно удавалось смягчать.

— Мне вспоминается Уинстон Черчилль, который говорил, что в демократическом механизме общества неотторжимо нужны две части: «лестница», чтобы каждый в меру сил имел шанс карабкаться вверх, и «страховочная сетка», чтобы тот, кто плохо застраховался, не умер, упав и разбится. Политические партии ведь тем, собственно, и отличаются: что одни больше пекутся о «лестнице», а другие о «страховочной сетке».

— Для меня несомненно, что каждый человек с рождения должен получать равный шанс. Как уместся им распорядиться — другой вопрос. Социальная защита, опека над идеей справедливости, я уверен, всегда были и будут на протяжении всей истории человечества с значением левых партий.

Думаю, для писателя в этом нет ничего неестественного. Литература всегда несла социальный заряд и потому критически смотрела на устройство мира. В чем деспотический социализм, к сожалению, преуспел, так это в растлении интеллектуалов. Развращались и писатели — высокими гонорарами, подачками, привилегиями. Авторитет звания литератора упал глубоко вниз, о каких отчаянных усилиях и прошлых заслугах теперь бы ни говорилось.

Как наши лучшие годы мне вспоминаются шестидесятые в Братиславе. Крупединомышленников, тогдашняя деятельность Союза писателей, который играл очень видную оппозиционную и мятежную роль. Мы добились настоящей свободы слова, выходил боевой еженедельник союза. Реформаторское движение в Словакии началось даже раньше, чем среди чешской интеллигенции. Я как-то говорил и повторю: когда наступила «пражская весна», в Братиславе уже было «словацкое лето». Оно, однако, сменилось самыми свирепыми холодами, еретикам затыкали рот, а тех, кто соглашался писать «как надо», развращали еще больше. Те, кто дискредитировал себя конформизмом, не находя отваги и сил, чтобы вернуться к перу. А после революции произошло новое несчастье — нередкое, впрочем, при революциях — честные интеллектуалы писатели пошли на государственную политическую службу.

— Почему же несчастье?

— Я называю это несчастьем. Потому что для природного отбора в наше ремесло существует одна обязательная генетическая особинка: способность или, если угодно, дар видеть вещи со всеми мыслимыми углов зрения, подвергать сомнению, анализу все и вся в человеке и в обществе. Без этого нет писателя. И если есть такая особинка — человек для политики не годится. Политика и мораль — очень разные вещи и соединяются редко. Никогда не забуду, как у нас в союзе кипели бешеные споры: иной раз заседали днями подряд, казалось, почти приходили к согласию, как вдруг чья-нибудь реплика снова обращала все в хаос. Я тогда сказал: «Господи боже, не допусти, чтобы эти люди делали политику».

— А драматург и президент Вацлав Гавел? Возьмите его стремление к «неполитической политике»...

— Гавел — уникальная фигура. Был и остается единственным авторитетом, достойным занимать место главы государства. Громадное чувство гражданской ответственности. Он всегда подавал внут-

— Вы, как я знаю, не только долго жили в Австрии, но и много путешествовали, много видели. Наверное, присматривались там и к положению писателя, литературы?

— Запад не балует популярностью социальные инстинкты писателя. Среди читателей не приветствуется, чтобы их особенно задевали, наводили на размышления. А литература, которая не берedit душу, не стоит своего предназначения. Конечно, на неразборчивый вкус промышлять пером можно. Приходится выбирать — или по-настоящему оставаться писателем с надеждой на успех по мере таланта, или с выгодой делать из себя клоуна, развлекать публику бульварной дребеденью. На этом можно неплохо кормиться, я считаю, ценой потери лица и еще — ценой вклада в разрушение культуры. Оно заходит очень далеко, мне думается, обнищание духа распространяется катастрофически.

У меня был случай. Дернуло написать в эмиграции сатирический роман. Вышел под названием «Гигант». В замысле была откровенная карикатура, злая пародия на дешевое чтиво. Потехился от души, натолкал туда всякой всячины — шпионажа, сайнс-фикшен, абсурда. Там интригуют русский резидент Ябов и американский супермен Йонаш, там марсиане, Атлантида, Бермудский треугольник, подводный рай с сиренами-лесбиянками, а перед ними в железной клетке голодный Джеймс Бонд. И что вы думаете? Самая злая ирония, а канон это приняла? Слово не издевательская фантазмагория, а обычный роман...

— Но «обычные» вещи вы ведь тоже в эмиграции писали?

— Собралось девять книжек. Первые три писал на словацком, а дальше на немецком. Есть романы, есть сборники повестей. Одни выходили, другие еще нет. В этих вещах я часто хожу вокруг темы человека, попадающего в экстремальную ситуацию, ищу ответ, выстоит ли сломается, и почему. Персонажей обычно два-три, а то один-единственный, место действия во всех концах света. Допустим, в повести «Маяк» — история смотрителя маяка в Красном море; пока не появилась электроника, смотрителями туда вербовали заключенных из Адена, им засчитывали год за пять лет, но редкий выдерживал до конца — кто пытался бежать, кто трогался умом. Это испытание одиночеством. А есть повесть об одном российском полярном летчике, сюжет услышан от него в поезде, когда пересекал Сибирь. Повесть так и кончается — он смотрит в вагонное окно, повторяет

«А выживет только один». Не то что это авторская мрачная склонность, наверное, отклик на трагичность самого нынешнего времени. Мне думается, не только посттоталитарный мир со своими пертурбациями, но и Запад, вся наша «белая» и «христианская» цивилизация переживает глубокий моральный сполз, утрату путеводных ценностей. Подумать, сколько же злых сил играет в теперешнем мире; природу почти погубили; культура уступает мешанской суете; передовой Запад, вернее Север, все мы, осознаем это или нет, продолжаем преуспевать за счет цветного и босоногого Юга; кругами расходятся национальные раздоры, теперь даже и в Чехо-Словакии.

— Домой не собираетесь?

— Всегда был уверен, что вернусь, и как раз сейчас возвращаюсь. Правда, не было жилья, теперь присмотрел что-то около Пештян. Назад в Братиславу не хочу, она мне представляется символом уродливого национализма, какой-то дутый амбициозности, вырастающей из комплекса неполноценности. Мое возвращение вряд ли обрадует политиков, которые теперь стоят у руля. Впрочем, не привыкать.

— Вы против отделения Словакии?

— Проблема с глубокими историческими корнями. В 1918 году, когда возникла Чехословакия, это было последним для нашего народа шансом на самосохранение. Словаки провели тысячу лет — тысячу! — единожды не вкусив настоящей самостоятельности. Не было своих политических представителей своего экономического веса, ничего. Только писатели говорили от имени народа, они одни дышали на искру национального сознания. Чехи сформировались как народ раньше. При каждом добром шаге у нас непременно стоял патрон — кто-нибудь из их специалистов. В словацком народном театре начинали играть чешские актеры, ставили — чешские режиссеры, нашу филармонию заложил чех, институт прикладного искусства — тоже. Пошел небывалый подъем образования, словацкого интеллектуализма, словацкого профессионализма. Появилось достаточно своих людей на все роли. Но из исходного перепада культур проросло в чешской среде чувство превосходства, а в словацкой — ущемленного самолюбия.

Как всякий народ, словаки, безусловно, имеют право на суверенитет, жить вместе или порознь — дело народной воли. Но глядя чисто прагматически, я сужу так, что для эмансипации выбора самый неподходящий момент времени. Из нынешнего кваса, нынешних переходных тяжкостей и завихрений надежнее было бы выбирать вместе. Чешские политики это понимают, предлагали со своей стороны немало важных уступок. Не знаю, чем кончится дело, победит ли разум или нетерпеливая дрожь эмоций, но уверен, что отделение стало бы для Словаки катастрофой.

Вулканические выбросы национализм стали разрушительны, как геологические катаклизмы. Я спрашиваю: что это за знак качества — быть словом или чехом, русским или молдаваном, сер